



ДРАМАТУРГИЯ ЖИЗНИ

*Журак и сцена - 1991 - Яма (и 19) - с. 2***Баллады о солдатах**

Вот мы и дожили, вот и встречаем сорок шестой уже День Победы. Для меня самый важный праздник в жизни: мое поколение немало сделало за послевоенные десятилетия, но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы совершили на войне.

И все-таки не хочется в этот день говорить одни только праздничные слова: слишком много на войне пережили, слишком много тяжелого и горького выпало на долю фронтовиков и после Победы.

Я прошел войну от начала до конца, и ранило меня в первый раз на второй ее день. Потом получил еще много ран, лежал в «доходиловке» — так называли бойцы госпитальные палаты для безнадежных. Но вот выжил, и через две недели исполнится семьдесят. Подарок судьбы? Наверное — ведь из моих воевавших сверстников уцелели всего три процента. И в День Победы радость перемешана с печалью о сотнях, тысячах боевых товарищей, с которыми я ходил в атаки, — они не вернулись с войны, вечная, светлая им память!

В этот день вспоминаю самых близких мне людей войны — двух своих друзей, с которыми побратался во время тяжелейшего боя за паднее Дона у станции Савинская. Полтора месяца отбивали наши дивизии атаки немецких танковых колонн, рвавшихся к Сталинграду. Словно специально для танковых маневров созданы плоские задонские степи — но мы стояли насмерть. И все-таки фашисты прорвались на флангах, мы оказались в окружении. Никакой надежды вырваться из страшного котла у нас не было. И вот тогда мы с Павлушей Кирмасом и Жорой Кондрашовым разорвали противоприкрытые пакеты — там был спирт в ампулах — и выпили, и назвали друг друга братьями. А потом договорились: если кто останется жив, разыщет родителей погибших и не оставит их в беде...

С наступлением темноты я собрал тех, кто уцелел, — человек тридцать десантников и пехоты. Терять нам было нечего — пан или пропал. Каким-то образом мне удалось довести на-

шу группу до Дона, а потом поплыли мы под пулеметным огнем на другой берег, заняли оборону, с боями отходили к Сталинграду. От нашей четырнадцатитысячной дивизии осталось, кажется, меньше трех сотен бойцов.

После переформирования мы опять вступили в бой за Сталинград. В станице Манычская я был ранен и замерз бы в поле, если бы не Павел Кирмас. Он нашел меня, перевязал, дотащил до санбата. Рана была серьезная — меня отправили в тыл, в госпиталь. Ни с Пашей, ни с Жорой больше во время войны мне встретиться не привелось.

Пришла Победа. Я уже учился в Москве, во ВГИКе, когда неожиданно объявился Жора Кондрашов. Он прислал моим родителям телеграмму, чтобы те встретили его на станции Синельниково. Моя мама и жена Ирина пошли по вагонам прибывшего на станцию поезда и с трудом отыскивали моего друга. Он был тяжело болен.

Уже потом я узнал, что во время одного из сражений с танковыми частями Манштейна Жору послали с рацией в тыл к немцам, чтобы он сообщал об их передвижениях. Он передавал такие точные и подробные сведения, что у командования это даже вызвало подозрения — не мог он просто физически так быстро перемещаться со своей рацией. Оказалось, что Жора пробрался в подбитый танк, который немцы влокли за колонной, и оттуда сообщал все, что видел. Зима та была лютая, броня танка — ледяная, Жора сильно промерз, и вскоре у него открылась тяжелая форма туберкулеза.

А узнал я обо всем этом от Паши Кирмаса, которого после войны случайно встретил на эскалаторе станции метро «Кировская». Паша мне еще рассказал тогда, что Жора, у которого горлом шла кровь, категорически отказывался лечиться. «Я уж до конца довоюю, — говорил Жора. — Ноги-руки целы, если комиссуют, дома перед людьми стыдно будет». Он и воевал до конца. А вернулся домой — и вскоре слег и уже не вставал. Семья Жоры бедствовала, даже голодала. Когда в 1953 году, еще надеясь

застать друга в живых, я приехал к нему в Николаев, Жору уже похоронили. Его мать рассказала, что деньги на похороны пожертвовала церковь. «Но ведь он был коммунистом, не хотела я хоронить его по церковному обряду, — говорила мама. — Обратилась в обком. Там обещали помочь и ничего не сделали...» Четыре дня мертвый Жора лежал в доме. На поиски обещавшего помочь обкомовского секретаря отправился семидесятилетний дед. Застал его на каком-то веселом дне рождения и не сдержался — ударил палкой. Деда судили и оправдали, но женщина-судья за этот оправдательный приговор поплатилась — кажется (точно, правда, не помню), ее уволили с работы.

Все эти годы живет во мне боль за нашего Жору — незаживающая рана. Семье его мы помогали, как могли, — они после смерти Жоры совсем забедовали, буквально нищенствовали. Я написал секретарю обкома, напомнил ему, что в беде семья фронтовика, что мать его просит милостыню на паперти. И получил издевательский ответ: семья Кондрашова в помощи не нуждается, поскольку факты попрошайничества не подтвердились...

Паша Кирмас — другая моя боль. Мы дружили, встречались. В прошлом году моего друга не стало. И тут же его семью выкинули из очереди на квартиру, которой Паша так и не дождался за сорок с лишним лет. Произошло это в городе Горьком, где он родился, жил, куда он пришел с войны.

Нет, не хочется мне в сорок шестой День Победы говорить праздничные слова. Рядом с радостью и светлой печалью навсегда поселилась во мне горькая обида за моих друзей — за честного воевавшего моих друзей Павла Кирмаса и Георгия Кондрашова. За то, что уже после войны происходило с ними, с их семьями, с их памятью — а значит со всеми нами. Что же с нами все-таки происходит?..

Григорий ЧУХРАЙ.

Снимок 1943 года.